

[<Возрождение] [Архив] **ЛЕХАИМ** ФЕВРАЛЬ 2006 ШВАТ 5766 – 2 (166)

«СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА...»

В минувшем году исполнилось 125 лет со дня рождения и 65 лет со дня кончины Владимира (Зеева) Жаботинского. Одесса помнит одного из своих сыновей.



«Я не помню, какие планы были у меня в конце 1903 года, – вспоминал Владимир Жаботинский в “Повести моих дней”. – Быть может, я мечтал, как это водится у молодежи, завоевать оба мира, на пороге которых я стоял: обрести лавровый венок “русского” писателя и фуражку рулевого сионистского корабля...» Если первая цель честолюбивого молодого литератора выглядела в глазах многих его современников слишком уж смелой, то вторая задача в 1903 году для большинства его приятелей была просто непонятной.

Спустя шестнадцать лет прожившая в черноморском городе несколько тревожных месяцев писательница Тэффи остро почувствовала близость типичного одесского быта к специфике одного из популярных жанров устного творчества: «Не город, а сплошной анекдот». Однако на смену этому любопытному наблюдению пришло другое, более пронизательное и грустное: «Жить в анекдоте ведь не весело, скорее трагично...» Не исключено, что на пике своей популярности одессит Жаботинский мог бы не согласиться с таким определением, да еще оскорбиться за милый сердцу город. Однако позднее, в середине 1930-х годов, он писал в заключительной главе романа «Пятеро», употребляя – надо полагать, абсолютно независимо от Тэффи – то же слово: «У людей, говорят, самое это имя Одесса – вроде как потешный анекдот... Но за насмешливое отношение к моей родине я не в обиде».

Между тем, на пороге века в городской журналистской среде, в мире одесской Литературки, Владимир Жаботинский имел достаточно возможностей ощутить специфику этой самой «жизни в анекдоте», не постигая до поры до времени ее потенциальной трагичности. Однако уже в 1903 году задумавшийся над мировыми проблемами молодой интеллигент начал осознавать и то, что, образно говоря, сюртук фельетониста «Одесских новостей» становился ему тесноват.



Одно время в литературе о Жаботинском бытовало мнение, что увлеченность сионистскими идеями он привез из-за границы. В самом деле, о существовании такого движения юный одессит впервые услышал в Западной Европе, но тогда еще не заинтересовался им по-настоящему. В «Опыте автобиографии» он признавался, что в первый раз серьезно задумался о сионистской проблематике в 1902 году, во время семинедельного пребывания в одесской тюрьме, «где впервые познакомился с детьми еврейской массы». Но это, по собственному его замечанию, был всего лишь начальный «толчок», сохраняющий – в наших глазах – некоторое отношение к истории вопроса. Подлинным же потрясением для благополучного (если не сказать процветающего) литератора явился печально известный кишиневский погром, ставший первым звеном в целой цепи локальных трагедий, возымевших широкий резонанс и обнаруживших кульминацию острейшей общегосударственной и общенациональной проблемы.

Собственно, уже первые вести из Дубоссар, где в феврале 1903 года – не без злобного науськивания со стороны печально известной черносотенной газеты П. Крушевана «Бессарабец» – евреев обвинили в ритуальном убийстве и в воздухе запахло погромом, насторожили Жаботинского. Дубоссары расположены не так далеко от Одессы, но дело было не только и не столько в территориальной близости. Молодой одесский литератор, благодаря своей недюжинной интуиции, почувствовал, что погромная стихия, поощряемая властями, может затронуть разные населенные пункты России, включая его родной город. А в апреле, на православную Пасху, когда разразился погром в Кишиневе, он воспринял всё происходящее как большую общественную и в то же время глубоко личную трагедию, встретив в среде своих близких друзей-одесситов едва ли не полное единомыслие.

Откликнувшись на призыв активистов, сочувствующих пострадавшим кишиневцам, люди разных сословий стали приносить в редакцию «Одесских новостей» пожертвования. Жаботинский и сам поехал в Кишинев, беседовал там со многими людьми, включая очевидцев и жертв резни. Повстречался он там и с одесситами – видными деятелями еврейского движения и еврейской культуры. С одним из них тогда, в Кишиневе, он впервые встретился и познакомился, хотя этот человек был известен во всей России, и не только в России, к тому же с 1900 года постоянно проживал в Одессе. Звали его Хаим-Нахман Бялик; имя видного поэта, писавшего на древнееврейском языке, разумеется, было известно Жаботинскому.

В истории еврейской литературы, равно как и в истории многонациональной российской культуры, имена Бялика и Жаботинского ставят рядом. Объяснение простое: у прогрессивно мыслящих русскоязычных читателей, не знавших древнееврейского языка, появилась возможность познакомиться со стихами Бялика благодаря их переводу на русский язык, выполненному младшим современником поэта. Первое издание «Песен и поэм» Бялика в авторизованном переводе

Жаботинского увидело свет в одном из петербургских издательств в 1911 году, после чего за десять лет эта книга переиздавалась пять раз.

Благодаря талантливому переводчику, поэзия Бялика обрела в русских литературных кругах немало почитателей. Одним из них был Максим Горький, который в 1921 году помог Бялику выехать за пределы Советской России, а в своем докладе на Первом съезде советских писателей в 1934 году упомянул его имя, назвав Бялика «почти гениальным поэтом».

Начало профессиональному интересу Жаботинского-переводчика к поэзии Бялика положили Кишинев и личная встреча с поэтом. В 1904 году была переведена поэма «В городе резни», которая в русском переложении Жаботинского называлась «Сказание о погроме». Впрочем, словосочетание из оригинального названия поэмы было сохранено в первом стихе перевода:

– *Встань и пройди по городу*

резни...

Кишиневский погром оставил в душе Жаботинского смешанные чувства. С одной стороны – глубокое сострадание к невинным жертвам бесчеловечной резни, а также чувство возмущения по отношению к погромщикам и фактически поддерживавшим их власть предрежающим. С другой – жгучий стыд за полное бездействие, рабскую покорность еврейского населения черносотенной агрессии, отсутствие действенного сопротивления.

Между тем сам Жаботинский еще до Кровавой Пасхи 1903 года почувствовал насущную потребность оказать сопротивление надвигающемуся насилию – и с этой идеей обратился за поддержкой к ряду видных еврейских деятелей не только в Одессе, но и в других городах, однако серьезного понимания с их стороны не встретил. Сочувствовать, сопереживать, даже делать пожертвования – пожалуйста, с дорогой душой, – но звать к открытому сопротивлению?.. Эта идея многим казалась взрывоопасной.

Тогда Жаботинский и его друзья Израиль Тривус (будущий соратник Владимира Евгеньевича по ревизионистскому движению во Всемирной сионистской организации) и Меир Дизенгоф (будущий мэр города Тель-Авива) начали действовать сами, создавая еврейскую самооборону в Одессе. Задача эта была не из простых хотя бы потому, что выполнение ее требовало от организаторов тщательной конспирации. Об этом упомянуто в романе «Пятеро»: «...под видом “гигиено-диететического учреждения” можно устроить занятия гимнастикой, а под видом гимнастики – самооборону. На юге начинали поговаривать, что скоро это пригодится».



В «Повести моих дней» есть сравнительно небольшая по объему глава «Кишинев», посвященная участию Жаботинского в создании самообороны в Одессе. Здесь не содержится и тени сомнения в необходимости сопротивления черносотенцам, напротив – осуждается вялая покорность, проявленная кишиневскими евреями. Повествует автор и о первом собрании активистов одесской самообороны «в просторной и пустой комнате, похожей на торговую контору» на Молдаванке. За кратким рассказом о сборе денег и оружия, составлении и размножении листовок следует немаловажное сообщение о том, что помещение принадлежало некоему Генриху Шаевичу, агенту-зубатовцу, хотя точного представления о мотивах и целях его участия в организации одесской самообороны у Жаботинского и его идейных сподвижников не было ни в ту пору, ни позднее: «Мне безразлично, был ли этот Шаевич честным и заблуждающимся человеком или шпионил и предавал сознательно: на мой взгляд, с того дня, когда он предоставил нам такое надежное убежище, чтобы вооружить евреев, он искупил все свои грехи...»

По воспоминаниям Израиля Тривуса, в одной из своих ярких, взволнованных речей в 1905 году инициатор самообороны сказал: «Нет ничего, что так унижало бы человека, как трусость. Это свойство души, несмотря на то, что оно порождено инстинктом самосохранения, не имеет ничего общего с понятием “человек” – то есть создание, сотворенное по образу и подобию Б-жьему». Кстати, в те годы Жаботинский выступал на разные политические темы достаточно часто, демонстрируя не только преданность делу, но и тот замечательный ораторский талант, который был замечен и оценен еще слушателями рефератов молодого журналиста в одесской Литературке.

На какие слои населения могли опереться в Одессе Жаботинский и его единомышленники, создавая самооборону? По разрозненным сведениям, в отряды самообороны люди шли довольно разные; кому-то из новейших, не отягощенных историческим образованием искателей сенсаций представляется, что тон в создававшихся дружинах задавали либо политические экстремисты, либо люмпены. Между тем идеолог самообороны и автор «Повести моих дней» особо отметил самое активное участие в этом движении студенческой молодежи, для которой организованное сопротивление погромщикам становилось частью более широкого, освободительного движения. «Особенно проявлялось брожение в среде учащейся части общества... Университеты превратились во фронт освободительной войны. Если бы спросили нас: “Кто станет во главе, когда настанет тот день?” – мы бы ответили: “Конечно, студенческие комитеты”».

Между первым и потому получившим особенно громкий резонанс кишиневским и более масштабным, еще более жестоким одесским погромами пролегла двухлетняя дистанция. За это время фельетонист Altalena* успел стать заметным деятелем российского и мирового сионистского движения. Можно сказать, именно в таком качестве встретил он кровавые события в Одессе в октябре 1905 года.

Одна из сионистских организаций в Одессе выдвинула его делегатом на VI Всемирный сионистский конгресс, собиравшийся в Базеле. По собственному признанию, Жаботинский еще ничего толком не знал об этом движении и его программе, но уже «заболел» проблемами жизни и перспективами дальнейшего существования своего народа. Это был его первый конгресс, молодого неопита сразу же захватил вихрь страстей и борений. Не столько богатая эпическая история «народа Книги», но в первую очередь страдания соплеменников призвали разносторонне одаренного одессита на столь неожиданный и непростой путь. О своем дебюте на Базельском конгрессе (последнем конгрессе, в работе которого участвовал родоначальник движения Теодор Герцль) Владимир Жаботинский не без самоиронии поведал в автобиографической книге.

Вхождение молодого одессита в сионистскую проблематику произошло как-то по-жаботински быстро. Вместе с тем, в его понимании задач сионистской организации не было самоуверенной поверхностности и ограниченности, напротив, превалировал серьезный, вдумчивый подход. Будучи прежде всего литератором, Жаботинский многие серьезные раздумья о сионизме и еврейском вопросе переносил в свои тексты, ища диалога с заинтересованным читателем. Этому кругу проблем посвящено множество его газетных и журнальных публикаций, а также брошюр.



В большинстве своем эти брошюры печатались в 1904–1906 годах в одесских издательствах – таких, как «Кадима», «Восход», издательство С. Д. Зальцмана. Приведем названия наиболее известных из них: «Чужие! Очерки одного “счастливого” гетто» (Одесса, 1904), «Еврейское воспитание» (Одесса, 1905), «О территориализме (Сионизм и Палестина)» (Одесса, 1905), «К вопросу о нашей политической платформе» (Одесса, 1906), «Критики сионизма» (Одесса, 1906). Одна из брошюр, изданная в Екатеринославе в 1905 году, называлась так же, как известный роман русского писателя радикально-революционных взглядов и брошюра более позднего и еще более радикального революционера – «Что делать?». Некоторые из написанных тогда Жаботинским маленьких книжечек выходили из печати двумя и тремя изданиями, что свидетельствует о наличии у этих памфлетов широкого круга читателей.

К тому же времени относится и очередное прощание Владимира Евгеньевича с Одессой как с постоянным местом жительства. Не суждено было Жаботинскому, на манер многих бойких одесских репортеров, обосноваться в Петербурге – хоть и жилал Altalena в столице, хоть и сотрудничал в петербургской периодике. «Вел я

кочевую жизнь», – вспоминал он впоследствии об этом времени. Петербург, Вильно, Киев, Гродно, Нижний Новгород, Вена, Константинополь – не перечислить всех городов, где ему довелось побывать, а то и пожить. Деятельное участие в сионистском движении занимало в его жизни всё большее место.

Литературных занятий, впрочем, он не прекращал, оставаясь по преимуществу профессиональным журналистом. Правда, его связь с газетой «Одесские новости» на несколько лет ослабла, и с рубежа 1904–1905 годов до начала 1908 года в популярнейшей газете Юга России не появлялось новых корреспонденций за подписью «Altalena». В столице он стал постоянным автором журнала «Еврейская жизнь», позднее переименованного в «Рассвет», сотрудничал в обозрении «Русь», газете «Наша жизнь», а также в выходившем в Петербурге журнале Михаила Грушевского «Украинский вестник» и других изданиях.

Не оставлял Жаботинский и занятий поэзией. На пороге века им был написан ряд лирических стихотворений, включая такие, как «Серенада на кладбище», «Piazza di Spagna», баллада «Нозла», «Песня контрабандиста». Последнее из упомянутых стихотворений особенно запомнилось другу его одесской юности Корнею Чуковскому, который шестьдесят лет спустя в письме цитировал романтические строки этой «Песни»:

Жди меня, гитана!

Ловкие колена

Об утесы склона

Я израню в кровь.

Не больна мне рана,

Не боюсь я плена,

Я умру без стога

За твою любовь.



Самым значительным оригинальным поэтическим произведением Жаботинского тех лет является его небольшая неоромантическая по духу поэма «Бедная Шарлотта». Написана она была в Одессе в 1902 году, а издана отдельной книжкой два с лишним года спустя в Петербурге. Романтическая традиция в поэме сопрягается с историко-географической конкретикой, пришедшей в основном из европейской реалистической литературы середины XIX века. Трагический персонаж Великой Французской революции, убийца Жан-Поля Марата Шарлотта Корде сама ведет рассказ о своей короткой, но полной драматизма жизни, исповедуется другу в предсмертном письме в ночь накануне казни. В ее искреннем изложении события и повороты собственной судьбы не столько продиктованы эмоционально-импульсивными, мятежными порывами, сколько мотивированы психологически, изнутри. Верстку издававшейся в столице поэмы Жаботинский отправил писателю, творчество которого ставил чрезвычайно высоко, Максиму Горькому, – тот отозвался о поэме благосклонно.



М. Дизенгоф.

Работа профессионального литератора с разной степенью интенсивности продолжалась, хотя с появлением у Жаботинского новых жизненных «амплуа», требующих полнейшей самоотдачи и максимальной сосредоточенности, сделалось практически невозможным существование по неписанным правилам «жизни в анекдоте»...

М. Соколянский